

A detailed oil painting of a woman with long, wavy, grey hair, wearing a red velvet dress and a large, ornate necklace. She is seated at a wooden table, writing in a large, open book with a quill. A small, dark-colored dog is sitting next to her, looking at the book. The table is covered with a patterned cloth and has several other books and papers on it. In the background, there is a large window with a view of green foliage, a potted plant with orange flowers, and a wooden bookshelf filled with books.

Марта Вельская

Покровская колода

Марта Вельская

Покровская колода

«Автор»

2026

Вельская М.

Покровская колода / М. Вельская — «Автор», 2026

После смерти бабушки Варвара приезжает с дочерью в унаследованную тверскую усадьбу. Старая тетрадь, колода карт, воспоминания дома и едва заметные знаки помогают семье прожить утрату и заново увидеть связь поколений. Повседневная жизнь, забота о близких и присутствие старого пса Морока постепенно возвращают дому тепло.

© Вельская М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	23
Глава 5	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Марта Вельская

Покровская колода

Глава 1



Шут идёт, не зная дороги. Маг знает, что дорога сложится под ногами. Может быть, это один и тот же человек — только утром и вечером.

Из тетради Олимпиады Львовны Снегирёвой

> Есть в осени первоначальной > Короткая, но дивная пора — > Весь день стоит как бы хрустальный, > И лучезарны вечера... > > — Ф. И. Тютчев

Глава 1: Порог

Иней лёг на лужи у ворот, и колёса хрустнули по нему, как по сахару. Было четырнадцатое октября, день Покрова, и утро стояло такое тихое, что Варвара слышала, как в глубине аллеи падает лист — отрывается от ветки с лёгким щелчком и долго, покачиваясь, опускается на землю. Листья лежали на дороге золотым ковром, влажные от ночного тумана, и из-под них пахло прелью и грибами — тем особенным осенним запахом, который всегда казался ей запахом чего-то конченного, но не навсегда.

Аллея была длинная. Липы стояли по обе стороны, сомкнув голые верхние ветви, как пальцы сцепленных рук, и только внизу ещё держались последние листья — жёлтые, бурые, с рыжими краями. Дом открывался постепенно: сначала крыша, тёмная, с серым дымком из трубы, потом колонны — деревянные, белёные, одна чуть покосившаяся влево, — потом крыльцо с каменными ступенями, потёртыми по краям. Среднепоместный дом, не роскошный и не бедный, из тех тверских усадеб, что стоят уже сто лет и простоят ещё столько же, если не случится пожара.

Лизонька спала на сиденье напротив, уткнувшись лицом в овчинное одеяло, и только макушка торчала — тёмная, с завитком на затылке, который не расчёсывался ни одним гребнем. Морок лежал на полу коляски, вытянув передние лапы, и тяжело дышал, выставив язык. Одиннадцать лет — возраст, в котором далматины уже больше спят, чем бегают. Его голубоватые глаза, подёрнутые молочной плёнкой, смотрели мимо Варвары, куда-то за её плечо, и она машинально обернулась — но за спиной были только липы.

Она сама не знала, зачем приехала. Бабушка умерла в апреле, нотариус прислал бумаги в мае, всё лето Варвара откладывала и находила причины: Лизоньке нездоровится, Александр в разъездах, погода не располагает. Потом причины кончились. Осталось наследство — дом, земля, пруды, яблоневый сад, и ещё то, что нотариус не включил в опись: тетрадь в телячьем переплёте, бархатный мешочек, перевязанный шёлковым шнуром, и пёс, которого некому было отдать.

Александр провожал до вокзала в Твери. Целовал торопливо, пахнул карболкой и табаком — как всегда. «Обустроишься — напиши. Я приеду, когда отпустят.» Его отпускали редко: земский врач на весь уезд, дифтерия в двух деревнях, и вот уже третью неделю он ночевал не дома, а в больничном бараке, среди коек и ширм. Варвара не обижалась. Она вышла замуж за врача и знала, что врач принадлежит не ей, а уезду, — и принимала это с той же спокойной ясностью, с какой принимала дождь и чужие болезни. Но иногда, в коляске, глядя на спящую дочь, она ловила себя на мысли, что едет одна. Не к мужу, не от мужа — к чему-то третьему, чему ещё нет имени.

Дорога от Твери заняла четыре часа. Лизонька проснулась раз, попросила воды, назвала Морока «тёплым ковриком» и уснула снова, уткнувшись ему в бок. Кучер, нанятый на станции, молчал, только причмокивал на лошадей. Тверская земля за окнами коляски лежала плоская, буро-золотая, с чёрными перелесками и редкими деревнями. Колокольни торчали из тумана, как пальцы.

Коляска остановилась. Морок поднял голову, принялся и тяжело спрыгнул на землю — лапы разъехались на мокрых листьях, он покачнулся, выровнялся и, не оглядываясь на Варвару, пошёл к крыльцу. Как будто знал дорогу. Как будто возвращался.

На крыльце стояла Глафира Тихоновна.

Варвара помнила её другой — моложе, мягче, с тёплыми булочками на подносе и улыбкой, от которой морщились уголки глаз. Прошло пятнадцать лет с последнего лета в Покровском, и Глафира высохла, как лекарственная трава: стала жёстче, суше, с пучком седых волос на затылке и привычкой поджимать губы, словно во рту у неё вечно было что-то кислое. Она стояла на крыльце, как часовой, и смотрела, как кучер снимает с коляски чемоданы.

— Варвара Александровна, — сказала она и поклонилась. Не «барыня», не «голубушка», а по имени-отчеству, ровно и отмеренно. Потом посмотрела на чемоданы: — Надолго?

— Не знаю, — честно ответила Варвара.

Глафира поджала губы.

Морок тем временем поднялся на крыльцо, обнюхал Глафирины руки — сначала левую, потом правую, обстоятельно, как доктор на осмотре — и лёг у её ног, привалившись боком к подолу юбки. Через минуту он уже храпел, и из-под закрытых век торчал кончик языка.

Глафира посмотрела на него, потом на Варвару. Что-то дрогнуло в лице — не улыбка, но разрешение.

— Ишь, признал, — сказала она. И потянулась за первым чемоданом.

Дом пах нежилым. Не пылью — пылью пахнет жильё, в котором не убирают, а здесь убирали, — но тем особенным застоём, когда воздух месяцами не двигался. Чехлы на мебели лежали ровно, как сугробы. На портретах в коридоре — пыль, тонкая, ровная, словно припорошенная через сито. Варвара узнала бабушкин портрет — маслом, в овальной раме — и остановилась. Олимпиада Львовна смотрела с полотна строго и чуть насмешливо, как женщина, знающая что-то, чего не знают другие, и не считающая нужным объяснять.

Глафира шла впереди, отпирая комнаты, и Варвара видела, как она касается косяков — не для опоры, а как гладят. Трогает дверные ручки с той бережностью, с какой трогают живое. Проверяет каждую комнату взглядом, прежде чем впустить гостью, — и это слово «гостья» мелькнуло у Варвары само и царапнуло. Она была не гостьей. Она была наследницей. Но Глафира, кажется, так не считала.

— Протоплю к вечеру, — говорила Глафира, толкая ставни. — Печи стояли холодные с Пасхи, но тяга хорошая, я проверяла. Самовар через полчаса.

Они прошли через гостиную — зеленоватые обои с золотым рисунком, ломберный столик у окна, рекамье с розочками на обивке, бабушкино кресло-качалка, камин с мраморной полкой, на которой стояли каминные часы, не тикающие. Глафира ходила от окна к окну, отпирала ставни, впускала серый октябрьский свет, и комнаты оживали одна за другой, как будто просыпались. В столовой — длинный стол на двенадцать персон, покрытый льняной скатертью; буфет с рядами фарфоровых чашек; на стене — выцветшая литография «Вид Тверской губернии». В кухне — медная утварь на крюках, связки лука и чеснока, кафельная печь с голландской облицовкой, тёмно-зелёной, и запах — здесь уже жилой — золы, хлеба, чего-то пряного.

— Вы, Варвара Александровна, в какой комнате расположитесь? — спросила Глафира, не оборачиваясь. — Олимпиада Львовна в последние годы спала внизу, в голубой. Наверху только...

Она не договорила.

На втором этаже, в конце коридора, Варвара остановилась у закрытой двери. Из-под неё тянуло — не сквозняком, а холодом, ровным и плотным, как будто за дверью была не комната, а январь.

— Что здесь?

Глафира, уже спускавшаяся по лестнице, обернулась.

— Спальня Олимпиады Львовны. — Пауза. — Домовой туда не ходит — и вам пока незачем. Олимпиада Львовна сама при жизни туда не всех пускала.

Варвара хотела спросить, что значит «домовой не ходит», но Глафира уже скрылась внизу, и из кухни донёсся звук — медный, глухой — самовар на плите.

Бабушкин кабинет был на первом этаже, в угловой комнате с двумя окнами — на сад и на пруд. Глафира не заперла его, только прикрыла дверь, и Варвара вошла одна.

Запах ударил первым — и остановил. Не пыль, не нежилое. Ландыш. Тонкий, отчётливый, невозможный в октябре. Варвара замерла на пороге, втянула воздух — да, ландыш, тот самый, бабушкины духи, которые та заказывала в тверской аптеке: ландышевая вода с каплей мускуса. Но флаконов нигде не было; на конторке — только стопки тетрадей, чернильница с засохшими чернилами и перо с погнутым кончиком.

Она подошла ближе. Кабинет был невелик — два шага от двери до конторки, три от окна до печи — но заполнен так плотно, что казался больше, чем был. На потолочных балках висели связки сушёных трав — мята, зверобой, чабрец, что-то ещё, чего Варвара не узнала: серо-лиловое, пыльное, с тонким горьковатым запахом. Они высохли до невесомости и, казалось, вот-вот рассыплются, если дунуть. На полках — стопки тетрадей, все в одинаковых телячьих переплётках, подписанные бабушкиным почерком: «1858–1862», «1863–1870», «Травы. Рецепты. Заметки». Между тетрадями — склянки тёмного стекла без надписей, высохший огарок свечи на блюдечке, лупа с костяной ручкой, перочинный нож. Каждая вещь стояла на своём месте, как будто хозяйка вышла и вот-вот вернётся. Варвара вспомнила своё гувернантское правило: порядок на столе — порядок в голове. У бабушки порядок был особенный — не школьный, а живой, как в лесу, где каждое дерево знает своё место, но объяснить это дерево не сможет. На конторке отдельно — одна тетрадь, толще других, с загнутыми углами страниц и засушенными листьями, торчащими из-под обложки, как закладки. Рядом — бархатный мешочек вишнёвого цвета, перетянутый шёлковым шнуром, мягкий на ощупь, чуть тяжелее, чем ожидаешь.

Варвара потянула за шнур. Внутри — колода карт, потёртая по краям, с золочёным обрезом, стёршимся до медного блеска. Рисунки — яркие, наивные, как детские, и странные: женщина с весами, мужчина с посохом, башня, в которую бьёт молния. Юноша с котомкой на палке, шагающий к обрыву; солнце над его головой и собака у ног. Она не знала, что это Таро. Знала только, что бабушка раскладывала что-то по вечерам, когда гости расходились, — рас-

кладывала молча, при одной свече, и не объясняла. Варваре тогда было четырнадцать, она гостила летом, и однажды подглядела: бабушка сидела за этой самой конторкой, карты перед ней веером, и губы шевелились, как при молитве. Утром Варвара спросила. Бабушка рассмеялась: «Пасьянс, Варенька. Просто пасьянс». И перевела разговор на завтрак.

Она положила колоду обратно в мешочек, затянула шнур. Тетрадь не открыла — только провела пальцем по корешку, по выдавленным на переплёте буквам «О. Л. С.», ощутила под пальцами фактуру кожи, мягкой, тёплой, как живая.

Лизонька, пока Варвара разбирала кабинет, обошла дом по-своему — тихо, по-кошачьи, трогая ладонью обои и мебель, как будто здоровалась. На рекамье в гостиной она свернулась калачиком, подложив под щёку руку, и уснула мгновенно, как засыпают дети, для которых каждое место — дом. Лицо её было спокойным, губы чуть приоткрыты, и на щеке отпечатался узор обивки — розочки.

За окном — сад: яблони с последними плодами, тёмными и сморщенными, кусты крыжовника, обнажённые, колючие, а за ними — низкая ограда и пруд, в котором отражалось серое небо. Второй пруд, поменьше, заросший ряской, виднелся дальше, за берёзами. Вода в обоих была чёрная и тяжёлая, ещё не тронутая льдом.

Морок вошёл в кабинет за Варварой и остановился. Она обернулась — пёс стоял у порога, как будто ждал приглашения. Потом прошёл внутрь, тяжело, медленно, когти цокали по паркету — и этот звук, шуршание лап по дереву, показался Варваре таким знакомым, словно она слышала его всю жизнь. Морок обошёл комнату, обнюхал конторку, стул, полку с тетрадами — и улёгся у печи.

Но не как обычно — бок к теплу, морда на лапах. Он лёг мордой к пустому креслу у окна, тому самому, бабушкину, с продавленной подушкой и кружевной салфеткой на подлокотнике. Голова чуть набок. Хвост — тук-тук-тук — по паркету. Как при встрече со знакомым. Варвара посмотрела на кресло. Пустое. Салфетка. Продавленная подушка. Больше ничего.

— Морок, — позвала она тихо. Пёс не обернулся. Хвост стучал.

Вечером Глафира подала самовар в столовую, расставила чашки — три для Варвары (чайную, для молока и для варенья) и блюдечко с молоком для Морока, который лакал степенно, не спеша, макая в молоко усы. Лизонька проснулась, поела каши с маслом и молоком, выпила полчашки чая с сахаром и, пока Варвара расплетала ей косу на ночь, спросила:

— Мама, а мы тут будем жить?

— Посмотрим, — ответила Варвара. Это было её обычное слово — осторожное, ни к чему не обязывающее.

— Хорошо, — сказала Лизонька так, как говорят дети, когда вопрос уже не важен, потому что ответ они знают без слов. Она потянулась, зевнула и протянула руки к Мороку, который стоял в дверях детской, покачивая хвостом. — Морок, ложись.

Пёс посмотрел на неё, посмотрел на Варвару — как будто спрашивая разрешения — и тяжело улёгся у кровати, привалившись боком к ножке. Лизонька свесила руку и положила ладошку на его голову. Через минуту оба спали.

Детская пахла лавандой — Глафира, видно, переложила бельё. Кровать с высокой спинкой, из тёмного дерева, была ещё бабушкиной, а может, и прабабушкиной. На стенке — обои с незабудками, кое-где отклеившиеся по углам. На подоконнике — фарфоровая кошка, белая, с отбитым ухом. Варвара помнила эту кошку. В детстве она дала ей имя, но имя забылось, осталось только чувство — тёплое, стеклянное, — что у этой кошки есть характер и она смотрит.

Варвара вышла, притворила дверь и постояла в коридоре, слушая. Из детской — ровное дыхание и лёгкое похрапывание Морока. Из кухни — звяканье: Глафира мыла посуду. Из стен — скрип, треск, вздох. Старый дом устраивался на ночь.

Дом темнел за окнами. Сад исчезал в сумерках: яблони, кусты смородины, ограда — всё растворялось в тёмно-сером, и только пруды ещё тускло блестели — чёрная вода, неподвижная,

как зеркало, в которое никто не смотрит. Где-то далеко, за деревней, лаяла собака — лениво, без азарта, просто чтобы обозначить своё присутствие в ночи.

Варвара сидела одна в столовой, грея руки о чашку. Надо было написать Александру — что доехала, что дом цел, что Лизонька здорова, — но бумага и чернила были в чемодане, а чемодан стоял нераспакованный в голубой комнате внизу, и сил дойти до него не было. Она думала: странно, что дом может быть таким незнакомым и таким знакомым одновременно. Потолочная балка в столовой — она помнила её. Трещина, похожая на реку с притоками. Ей было семь, когда она лежала на полу и разглядывала эту балку, а бабушка варила варенье и рассказывала про ласточек.

Она слушала, как остывает дом. Он остывал со звуком — потрескивали балки, щёлкали ставни, что-то вздыхало в стенах, как будто старое дерево выпускало дневное тепло и стягивалось на ночь. В щели между ставнями сквозил холод, тонкий и острый, с запахом мокрой земли. Свеча на столе наклонилась, и тени от мебели сдвинулись — бабушкин портрет в коридоре словно моргнул. Варвара поднялась, поправила свечу. Села обратно.

Она думала об Александре — о том, что он сейчас, наверное, спит в больничном бараке на продавленной койке, в сапогах, потому что некогда разуваться, и пахнет карболкой, которая не выветривается даже после бани. Думала, что надо бы к нему — помочь, быть рядом, — но знала, что он не примет помощи. Он никогда не просил и не жаловался, только худел и молчал, и по тому, как он снимал очки перед сном — медленно, двумя руками, как будто они весили пуд, — Варвара понимала, что ему тяжелее, чем он показывает.

Она отпила чай, уже остывший. Дом вокруг потрескивал, вздыхал, шуршал — и всё это было нестрашно, привычно, как и положено дому, которому сто лет.

А потом — звук другой.

Тихий, стеклянный, отчётливый. Варвара подняла голову. На полке над буфетом стояла фарфоровая чашка — белая, с трещиной по краю, из сервиза, которым бабушка пользовалась каждое утро. Чашка звякнула. Негромко, но ясно — фарфор о фарфор, как будто кто-то тронул и поставил обратно.

Варвара встала. Подошла к полке. Чашка стояла, как стояла. Никого рядом. Ветра не было — ставни закрыты. Она протянула руку, коснулась пальцем трещины. Фарфор был тёплый.

Сверху — шаги.

Не треск и не скрип — шаги. Мягкие, осторожные, как будто кто-то ходит по комнате в одних чулках. Там, наверху, где холодная спальня с закрытой дверью. Варвара стояла, поднимая голову к потолку, и считала. Четыре шага в одну сторону. Пауза. Четыре в другую. Пауза. И снова.

Она не испугалась. Или испугалась — но не так, как пугаются грабителей или зверей. Это был другой страх: лёгкий, щекочущий, как будто волосы шевельнулись на затылке от дыхания, которого не должно быть.

— Глафира!

Ключница вышла из кухни, вытирая руки о полотенце. Посмотрела на Варвару. Потом — на потолок. Прислушалась.

— Это что? — спросила Варвара.

Глафира пожала плечами. Не испуганно, не удивлённо — как пожимают плечами на вопрос, сколько сейчас времени, когда и так видно по солнцу.

— Дом дышит, — сказала она. — Привыкнете.

Повернулась и ушла на кухню. Полотенце покачивалось у неё на плече.

Варвара постояла ещё минуту, слушая. Шаги стихли — или она перестала их слышать. Дом скрипел, вздыхал, щёлкал — но это уже было другое, понятное, деревянное. Половица у двери в кабинет скрипнула под ногой, пятая от порога, — и скрип был такой родной, такой

точный, что Варвара замерла. Эта половица скрипела и пятнадцать лет назад. И, наверное, пятнадцать лет до того. Дом помнил. Дом ждал. Или ей хотелось так думать.

Она задула свечу в столовой и пошла по коридору к кабинету.

Морок лежал у печи в кабинете — вернулся из детской сам, неслышно. Смотрел на неё. Голубоватые подслеповатые глаза блестели в свете свечи, и хвост — тук — один раз по паркету, негромко, как точка в конце фразы.

Варвара поставила свечу на конторку. Бархатный мешочек лежал рядом с тетрадью, там, где она его оставила. Мешочек — вишнёвый, мягкий, тёплый на ощупь. Тетрадь — телячий переплёт, страницы пожелтели по краям, между ними — засушенные листья. Она не открыла ни того, ни другого. Не сегодня.

Она села на пол рядом с Мороком, прислонилась спиной к тёплой печи и закрыла глаза. Пёс подвинулся, положил тяжёлую голову ей на колени. Его шерсть пахла пылью, дорогой и чем-то ещё — чем-то сладковатым, ванильным, что Варвара не сразу узнала.

Бабушкины духи. Ландыш и мускус.

Она открыла глаза. Морок спал, привалившись к её ноге, и его бок мерно поднимался и опускался. За окном не было ничего — ни луны, ни звёзд, только чёрное октябрьское небо и где-то далеко, за прудами, одинокий огонь в деревне. Дом дышал вокруг неё — скрипел, щёлкал, постанывал, — и ей впервые за полгода показалось, что она на своём месте.

Или почти.

Морок вздохнул во сне — глубоко, утробно, как старик, который наконец добрался до своей постели. Хвост дрогнул. Печь гудела. Варвара положила ладонь на его тёплый бок и стала слушать, как дышит дом.

Глава 2



Жрица молчит. Она знает, но не скажет — не потому что жадна, а потому что некоторые вещи тяжелеют от слов.

Из тетради Олимпиады Львовны Снегирёвой

> Невыразимое подвластно ль выраженью?.. > Святые таинства, лишь сердце знает вас.

> > — В. А. Жуковский

Глава 2: Тетрадь на полях

Дождь шёл третий день. Не ливень — мелкий, ровный, серый, из тех октябрьских дождей, которые не начинаются и не кончаются, а просто есть, как сырость, как сумерки в три часа пополудни, как запах прелой листвы, который теперь стоял повсюду — в сенях, в коридоре, даже в кабинете, хотя окна были закрыты. Ветви лип за окном стояли голые, чёрные, мокрые, и с каждой медленно стекала вода — капля за каплей, беззвучно.

Варвара открыла тетрадь только к концу октября — через две недели после приезда. Всё это время тетрадь лежала на конторке, где она её оставила в первый вечер, и Варвара обходила кабинет стороной — не из страха, а из того щепетильного чувства, которое не позволяет читать чужие письма, даже если автор мёртв. Она обживалась: распаковала чемоданы, написала Александру длинное письмо (потом переписала коротким: «Доехали. Дом цел. Глафира кланяется. Морок на месте»), разобрала детскую для Лизоньки — повесила занавески, достала из сундука тёплое одеяло, которое пахло лавандой и нафталином. Глафира помогала молча, точно, без лишних слов, и каждый раз, когда Варвара тянулась к чему-нибудь бабушкиному — к шкатулке на комод, к вазочке на каминной полке, — Глафира чуть поджимала губы, но не говорила ничего.

Но тетрадь ждала. И в одно утро, когда Лизонька сидела на кухне и ела кашу, а Глафира гремела ухватом у печи, Варвара вошла в кабинет, села за конторку и открыла тетрадь.

Первая страница — почерк бабушки, крупный, с характерным завитком на букве «в»: «Ромашка аптечная. Сбор — июнь, начало цветения, утром после росы. Сушить в тени, на сквозняке. От колик — столовую ложку на стакан кипятку, настоять четверть часа, процедить. Давать тёплым».

Варвара перевернула страницу. Рецепт зверобоя. Потом — мята перечная. Потом — чабрец. Между страницами — засушенные листья, бурые, хрупкие; один лист раскрошился от

прикосновения, и крошки рассыпались по конторке. Варвара стряхнула их в ладонь и поднесла к носу — слабый, почти выветрившийся запах, горьковатый, с нотой мёда. Она не знала, что это. Пока — не знала.

Рецепты были обстоятельные, точные — бабушка записывала дозировки, время сбора, результаты: «Давала Прасковье от бессонницы — через три дня спит. Но жалуется на горечь. Попробовать с мёдом». И дальше, через страницу: «С мёдом лучше. Прасковья довольна. Запомнить». Это не было суеверие или знахарские заговоры — это был учёт, методичный, терпеливый, растянутый на десятилетия. Бабушкин характер на каждой странице: дисциплина, внимание, аккуратность, и ещё — честность: «Пустырник от сердечной слабости — давала Фёдору, три дня без видимого результата. Может, слабая доза. Может, не то средство. Пробовать дальше». Она не приписывала травам чудес, не обещала исцелений. Она наблюдала и записывала — как врач. Как учёный.

Варвара узнавала в этом себя — свои конспекты гувернантских лет, свои таблицы и списки, привычку всё раскладывать по клеткам — и это узнавание было неожиданно тёплым, как рукопожатие через поколения. Она и бабушка были из одного теста, хоть и не знали друг друга по-настоящему: Варвара приезжала ребёнком, потом подростком, а потом жизнь развела — замужество, работа, город. Между ними лежали годы, в которые можно было приехать и не приехала.

Но на полях — другое.

На полях бабушка писала другим почерком — мельче, торопливее, иногда карандашом, иногда чернилами другого цвета. Пометки были короткие: «Карта дня — Жрица», «Сон: вода, мост, дерево на том берегу», «Д. приходила, пахнет дымом. Хорошо». И дальше, через несколько страниц, снова: «Карта дня — Колесница. Приняла решение о яблонях», «Зима, полнолуние. Карта — Отшельник. Пишу при свече».

Варвара листала медленно, осторожно — страницы были хрупкие, пожелтевшие, и от каждого прикосновения с них осыпались крошки сухих листьев. Между рецептом липового цвета и рецептом бузины был вклеен засушенный цветок — мелкий, белый, сплюснутый временем, с бледно-зелёным стебельком. Варвара не знала, что это. Рядом — пометка карандашом: «Май 1867. Цветёт вторую неделю. Настроение — ровное, ясное. Карта дня — Звезда». И ниже, чернилами другого цвета, добавлено позже: «Перечитала через год. Настроение — ровное, ясное — это было полвранья. Было тоскливо, но солнечно. Звезда знала лучше, чем я». Варвара улыбнулась. Бабушка спорила сама с собой на полях собственной тетради — и проигрывала картам.

Система проступала, как рисунок на запотевшем стекле: бабушка соотносила каждую траву с чем-то, что называла Арканом. Рядом с рецептом ромашки — пометка «IV, Император: порядок, дисциплина, строгая мера». Рядом со зверобоем — «XIV, Умеренность: смешивать, как настой — ни капли больше, ни капли меньше». Не все совпадения были понятны; некоторые казались произвольными, как если бы бабушка искала связи не в логике, а в ощущении. Рядом с валерианой стояло просто: «Луна. Ночное. Тёмное», и ничего больше.

Это были те самые карты, которые бабушка раскладывала при одной свече и называла «пасьянсом». Не пасьянс. Система — тайная, подробная, пронизывающая весь травник. Варвара подумала: она мне не солгала. Она мне не рассказала. Это разные вещи.

На двадцать третьей странице она остановилась.

Страница была перечёркнута — крест-накрест, сильным движением, так что перо продрало бумагу. Под крестом — рецепт: «От горячки детской. Липовый цвет, бузина, малина — равными долями. Заваривать крутым кипятком, настоять час. Давать часто, понемногу. Расстирать грудь гусиным салом с камфорой». И рядом, тем же почерком, но крупнее, кривее, как будто рука дрожала:

«Не помогло. Настя умерла».

Варвара закрыла тетрадь. Посидела, глядя на переплёт. Буквы «О. Л. С.» под пальцами. Кто такая Настя? Чья? Деревенский ребёнок? Родственница? И почему бабушка — бабушка, у которой каждый рецепт снабжён результатом и примечанием, — не написала ничего больше? Ни даты, ни фамилии. Только имя и два слова.

Она убрала тетрадь на конторку и вышла из кабинета. В коридоре пахло сыростью и дымом от печей. Морок лежал у порога кабинета — не внутри, а снаружи, как будто караулил — и когда Варвара переступила через него, поднял голову и посмотрел ей вслед. Глаза его, подслеповатые, голубоватые, были тёмными и внимательными, как будто он понимал, что именно она прочитала.

После обеда Варвара собралась в деревню. Нужны были свечи, мыло и нитки — Глафира составила список на клочке бумаги, мелким ровным почерком, и Варвара подумала, что у этого дома два почерка: бабушкин — размашистый, с завитками — и Глафирин — мелкий, экономный, как будто бумагу жалко. Лизоньку оставила с Глафирой; дочка не протестовала, сидела на кухне и раскладывала на столе фасоль по цветам — белую к белой, красную к красной, — с тем молчаливым сосредоточением, на которое способны только четырёхлетние.

До деревни было три версты по дороге через поле. Дождь к полудню утих, но небо оставалось низким, серым, как подбитое ватой, и земля под ногами была мягкой и чавкала. Варвара шла быстро, кутаясь в шаль, и думала о перечёркнутой странице. «Не помогло» — два слова, за которыми стояла бессонная ночь, или несколько ночей, горячий лоб ребёнка, компрессы, бузина, малина, и тот момент, когда всё кончается и больше нечего делать. Бабушка пережила это — и перечёркнула. Не вырвала страницу, не вымарала. Перечёркнула крестом, как крестят покойного. И оставила.

Воздух пах мокрой землёй и дымом — в деревне топили. Деревня открылась за пригорком: два десятка изб, потемневших от сырости, огороды с почерневшей ботвой, церковь с зелёным куполом, покосившимся набок, и лавка при церковной ограде — низкая, бревенчатая, с вывеской, на которой буквы от дождя расплылись. Собаки лаяли из-за заборов — лениво, по обязанности. Лужи стояли на дороге большие, с отражениями облаков.

Церковная лавка была маленькая, тесная, пахла ладаном и воском. За прилавком стояла попадья — полная, рыжая, с добрыми глазами — и торговала свечами, мылом, нитками, ещё открытками с видами Троице-Сергиевой лавры. Варвара выбирала нитки, когда дверь за её спиной отворилась и впустила запах — мятный, дымный, сильный.

Она обернулась. Дверь была ещё приоткрыта, и с улицы тянуло сыростью и дымом.

На пороге стояла женщина лет пятидесяти — крепкая, невысокая, широкая в плечах, с крупными руками, потемневшими от земли и трав. Лицо нельзя было назвать ни красивым, ни некрасивым — оно было как земля: тёмное, бороздчатое, терпеливое, с глубокими складками у рта и морщинами, которые шли не от возраста, а от привычки щуриться на солнце и ветру. Платок на голове — тёмный, с кисточками, повязан низко, до бровей. Телогрейка поверх домотканой юбки, валенки не по сезону — тёплые, разношенные, с заплатой на правом носке. От неё пахло мятой и печным дымом — не тем городским дымом, что щиплет глаза, а деревенским, берёзовым, тёплым.

Она не вошла — встала на пороге и смотрела на Варвару. Долго. Не так, как смотрят на незнакомых — быстро, скользом; а так, как смотрят на что-то знакомое, что изменилось, и нужно время, чтобы узнать.

Потом подошла.

— Вы — олимпиадина, — сказала она. Не спросила — сказала.

— Варвара Александровна, — ответила Варвара и тут же пожалела о формальности. Женщина не была из тех, с кем говорят по имени-отчеству.

— Дарья Ермиловна, — сказала женщина. И добавила: — Я знала Олимпиаду Львовну.

Повисла пауза. Попадья за прилавком притихла, слушая. Дарья смотрела Варваре в глаза — прямо, спокойно, без тени суетливости — и в этом взгляде было что-то такое, от чего Варвара почувствовала себя одновременно увиденной и оценённой, как пучок травы, который нюхают, прежде чем решить, годится ли.

— Бабушка говорила о вас, — сказала Варвара, хотя бабушка не говорила. Но нужно было что-то сказать.

Дарья чуть склонила голову:

— Нашли тетрадь?

Варвара моргнула. Вопрос был точный, без подготовки, как удар в дверь. Не «Как устроились?», не «Давно ли приехали?» — сразу тетрадь. Как будто Дарья знала, что это главное.

— Да, — сказала Варвара. — Нашла.

Дарья кивнула. Медленно, как кивают чему-то, что давно ожидали.

— Значит, время, — сказала она.

Помолчала. Потом повернулась к двери. На пороге обернулась:

— Приду. — И вышла.

Попадья за прилавком выдохнула — тихо, как выдыхают после задержанного дыхания:

— Это Дарья-повитуха. Знахарка наша, уважаемая. С вашей бабушкой, Царство Небесное, дружила. Лет тридцать, а то и больше. К ней вся деревня ходит — и от живота, и от тоски, и рожать. Батюшка, отец Ефрем, говорит: Бог лечит, а Дарья помогает.

— А что значит «время»? — спросила Варвара.

Попадья пожала плечами:

— Это вы у неё спросите. Дарья Ермиловна слова зря не тратит.

Варвара купила свечи, мыло и нитки — по Глафириному списку — и вышла. На крыльце лавки остановилась. Дарья стояла у церковной ограды, не уходила. Смотрела куда-то в поле. Варвара подумала — подойти? спросить? — и не подошла. Что-то в Дарьиной спине, прямой и неподвижной, говорило: не сейчас. Сказала — приду. Значит, придёт.

Обратно шла медленнее. Поле лежало мокрое, плоское, от него поднимался пар — тонкий, лёгкий, как дыхание земли. Грачи сидели на пашне чёрными кляксами. Церковный купол за спиной тускло блестел в пробившемся на минуту солнце, и в этом мгновенном свете всё стало яркое — рыжая грязь, зелёная трава на обочине, белый ствол берёзы — и тут же погасло. Облака затянули снова.

«Значит, время» — что значит время? Время для чего? Варвара перебирала этот разговор, как перебирают чётки, — каждое слово отдельно. «Вы — олимпиадина.» Не «Снегирёва», не «барыня», а «олимпиадина» — как говорят «ивановская» или «петровская», по принадлежности, по крови. «Нашли тетрадь?» — первый вопрос, без прелюдий. «Значит, время.» И «Приду» — не «приходите», не «если захотите», а «приду», как решение, которое принято не ею.

Варвара не могла решить, почувствовала ли облегчение или тревогу. Может быть, и то, и другое. Как в тетради на полях: «Было тоскливо, но солнечно».

По липовой аллее, где листья давно облетели и лежали бурой кашей под ногами, Варвара шла и считала шаги. От ворот до крыльца — сто двадцать два. Она не знала, зачем считает. Может, гувернантская привычка — привязывать числа к вещам. Может, чтобы не думать о перечёркнутой странице. Не помогло.

Дома Лизонька сидела на полу в гостинной, выстроив из бабушкиных пуговиц длинный ряд — от большой к маленькой, как лестницу. Глафира стояла в дверях и смотрела на неё с выражением, которое Варвара не сразу прочитала: не раздражение, не умиление, а что-то похожее на узнавание.

— Олимпиада Львовна тоже так делала, — сказала Глафира тихо. — Раскладывала вещи в ряд. Пуговицы, камешки, травы. Говорила — так виднее, что к чему.

Варвара промолчала. Посмотрела на дочь — четырёхлетнюю, молчаливую, сосредоточенную, — на пуговицы, выложенные с точностью, которой не учат, на Глафиру, которая стояла в дверях и не поправляла, не убирала, только смотрела, — и почувствовала лёгкое головокружение, как бывает, когда стоишь между двумя зеркалами и видишь бесконечный коридор отражений. Бабушка раскладывала. Лизонька раскладывает. А она, Варвара, стоит посередине и не знает, к какому зеркалу повернуться.

Вечером, после ужина — щи с капустой, хлеб, чай с вареньем из крыжовника, который Глафира варила ещё летом, при бабушке, — Лизонька сидела на ковре в гостиной и разглядывала фарфоровую кошку с подоконника детской — ту самую, белую, с отбитым ухом. Вертела в руках, рассматривала со всех сторон. Потом подняла голову:

— Мама, чашка опять стукнула.

Варвара замерла с чайной ложкой в руке.

— Какая чашка?

— Ну та. Которая на полке. С трещиной. — Лизонька говорила спокойно, без испуга, как говорят о вещах обыкновенных: чашка стукнула, собака зевнула, дождь пошёл. — Я слышала из кухни. Стук-стук. Тихонько.

Варвара посмотрела в сторону столовой. Чашка стояла на полке, как стояла. Белая, с трещиной. Неподвижная. Она сама не слышала ничего — но Лизонька не была из тех детей, которые выдумывают. Она была из тех, которые замечают.

— Может, показалось? — сказала Варвара, и голос прозвучал неубедительно даже для неё самой.

Лизонька подняла на неё глаза — тёмные, спокойные, без тени страха, — и чуть наклонила голову. Жест, в котором было что-то не детское: не удивление, не обида, а терпение. Как будто четырёхлетняя девочка знала что-то, чего тридцатиднолетняя мать не понимала, и была готова подождать, пока та поймёт.

— Не показалось, — сказала Лизонька просто. — Она стукнула. Два раза. — И вернулась к фарфоровой кошке, повертела её, примерила на палец отбитое ухо, как шляпу. Вопрос был для неё закрыт.

В кабинете Морок лежал у печи — мордой к пустому бабушкину креслу, как и в первый вечер. Голова чуть набок. Хвост — тук-тук-тук — по паркету. Тихо, ритмично, как метроном. Варвара стояла в дверях и смотрела. Кресло было пустое. Салфетка, продавленная подушка, запах лаванды и чего-то ещё — того самого, ландышевого. Или ей казалось. Ей часто казалось в этом доме.

Глафира прошла мимо с ведром — шла к чёрному ходу выливать помои. Заглянула в кабинет, увидела Морока у кресла, увидела Варвару в дверях. И сказала — просто, буднично, как говорят «печь протоплена» или «завтра будет ясно»:

— Домовой рад, что хозяева вернулись.

И пошла дальше, гремя ведром.

Варвара осталась стоять. Домовой. Глафира говорила о нём, как о соседе — не с суевренным страхом, не с насмешкой, а с той будничной уверенностью, с которой люди говорят о вещах, знакомых с детства. Для Глафиры домовой был так же реален, как печь, как ведро, как половица, которая скрипит пятой от порога. Для Варвары — нет. Пока — нет. Но чашка звякала, шаги ходили, а Морок стучал хвостом пустому креслу, и объяснений, которые укладывались бы в порядок конторки и перекрёстных ссылок, у неё не было. В тетради на полях — бабушкина система: травы, карты, сны, пометки. Может, там есть и ответ. А может, ответ в том, что его нет, и надо просто жить рядом с вопросом — как Глафира живёт рядом с домовым, не требуя доказательств.

Она подошла к конторке, положила ладонь на тетрадь. Телячий переплёт был тёплым — от печи или от чего-то другого. Рядом лежал бархатный мешочек — вишнёвый, мягкий, завя-

занный шнуром. Колода внутри. Система на полях. Перечёркнутая страница с именем Настя. Женщина в церковной лавке, которая сказала «Значит, время».

Варвара села в бабушкино кресло — впервые. В первый вечер не решилась, во второй тоже, а теперь — села. Подушка продавилась под ней по-другому, не так, как продавливалась под бабушкой: в другом месте, под другим весом. Салфетка сбилась на подлокотнике. Кресло скрипнуло — ему тоже нужно было привыкнуть. Варвара откинулась назад. Отсюда, из кресла, кабинет выглядел иначе — не как чужая комната, а как рабочее место, которое ждёт хозяйку. Конторка — на расстоянии вытянутой руки. Полки с тетрадями — слева. Окно на пруд — справа. Печь за спиной — тёплая. Бабушка сидела здесь каждый вечер, при свече. Раскладывала карты, писала на полях. Годами.

Морок повернул голову и посмотрел на неё — не на пустое пространство рядом, а на неё. Хвост замер. Потом — тук. Один раз. И снова замер.

За окном дождь шуршал по последним листьям, и пруды были чёрные, и в деревне, далеко, тускло горел одинокий огонь. Дом дышал. Варвара слушала.

Морок вздохнул, переложил морду с лапы на лапу и закрыл глаза. Его пегий бок — белый с тёмными пятнами, как карта неизвестной земли — мерно поднимался и опускался. Тук-тук — тихо, по паркету. Кому он стучал — ей или тому, кто был здесь до неё, — Варвара не знала.

Она сидела в бабушкином кресле, и тетрадь лежала на конторке перед ней — закрытая, тёплая, ждущая. Ждущая — чего? Она не знала. Но «значит, время» стучало в голове, как Мороков хвост, и не отпусало.

Глава 3



Императрица — это сад. Не тот, что посажен, а тот, что вырастет, если не мешать. Я долго не понимала. Потом родился сад — и стало ясно.

Из тетради Олимпиады Львовны Снегирёвой

> Ласточки пропали, > А вчера зарёй > Всё грачи летали > Да как сеть мелькали > Вот над той горой. > > — А. А. Фет

Глава 3: Яблоневый мёд

Первого ноября выглянуло солнце — ненадолго, на полдня, как будто осень спохватилась и решила проститься по-хорошему. Воздух был прохладный, но мягкий, без той режущей сырости, которая стояла всю последнюю неделю октября, и пахло яблоками — тем густым, медовым, чуть забродившим запахом антоновки, который Варвара помнила с детства. Яблони стояли в саду почти голые, с последними плодами — тёмными, сморщенными, как забытые на ветке кулачки, — и под каждым деревом лежал ковёр из падалицы: бурой, мягкой, пахнущей землёй и сидром.

За ночь подморозило — лужи у крыльца затянулись тонким льдом, и когда Лизонька наступила на него, он треснул с тем хрустящим, звонким звуком, который дети любят повторять снова и снова. Она наступала и отступала, наступала и отступала, пока лёд не раскрошился, и тогда перешла к следующей луже. Морок стоял рядом и смотрел — с терпением существа, которое давно пережило потребность торопиться.

Глафира с утра объявила, что пора заниматься припасами. Мочёные яблоки — бочку закатали ещё при бабушке, стояла в подполе, — нужно проверить. Калина на заднем дворе — созрела, горчит, но после заморозков будет слаще. Мёд с деревенской пасеки — Глафира заказала ещё в сентябре, два горшка, нужно забрать. Она перечисляла, загибая пальцы, и Варвара подумала, что у Глафиры свой календарь — не по числам, а по припасам: медовый, яблочный, капустный, — и этот календарь был точнее любого настенного.

Варвара вышла в сад с Лизонькой. Пруды за оградой ещё не замёрзли, но вода потемнела и загустела, как будто тоже готовилась к зиме — набирала плотности. На дальнем пруду, заросшем ряской, ряска пожелтела и лежала на воде сплошной коркой, похожей на старую штукатурку. Грачи ходили по пашне за берёзами, чёрные, важные, и время от времени один из них

поднимался, кружил и садился обратно — как чиновник, который встал из-за стола, потянулся и сел снова.

Дочка тут же убежала к яблоне — не к той, где висели последние плоды, а к самой старой, корявой, с дуплом в стволе и толстыми узловатыми корнями, торчащими из земли. Присела на корточки и стала собирать палочки, кусочки коры, жёлудь, принесённый ветром из дальнего леса. Строила домик. «Для жука», — объяснила она серьёзно, когда Варвара спросила. «Ему холодно. Нужна крыша».

Варвара присела рядом, подала веточку. Лизонька взяла, примерила, отвергла — слишком длинная — и нашла другую, подходящую. Четырёхлетние руки были точны и терпеливы, как руки хирурга или часовщика. Варвара смотрела на дочь — на тёмную макушку с завитком, на пальцы, втыкающие жёлудь в ямку из коры, — и чувствовала одновременно нежность и страх: как вырастить этого человека? Она, Варвара, умела составлять расписания, проверять тетрадки, раскладывать всё по полочкам — и это была хорошая, полезная способность, но дочь росла не по расписанию. Дочь росла, как то дерево, под которым они сидели, — кривое, узловатое, своевольное, с дуплом, в котором жил жук.

Бабушка, подумала Варвара, наверное, знала бы, что делать. Бабушка, которая лечила деревенских и писала на полях тетради, и раскладывала карты при одной свече. Бабушка знала что-то о росте — не школьное, не конспектное, а то, что знает сад: когда поливать, когда не трогать, когда просто быть рядом и ждать.

Морок тем временем обнюхивал сад. Он двигался медленно, как старый генерал, инспектирующий позиции, — останавливался у каждого куста, каждого пня, обнюхивал, фыркал и шёл дальше. У яблони с дуплом он вдруг остановился, принюхался — и начал рыть.

Передние лапы заработали с азартом, которого Варвара от него не ожидала: комья земли полетели в стороны, нос ушёл в яму, зад поднялся, хвост заходил, как маятник. Лизонька бросила домик и подбежала. Варвара тоже подошла, не понимая, что он нашёл.

Морок вытащил кость. Большую, старую, жёлтую от времени — может, бараний мосол, а может, что-то совсем древнее, закопанное здесь давно, ещё щенком. Он стоял с костью в зубах, грязный до ушей, с землёй на седеющей морде, и смотрел на Варвару с выражением такого торжественного достоинства, как будто нашёл клад. Хвост стучал по воздуху — раз, два, три.

Варвара засмеялась. Не улыбнулась, не хмыкнула — засмеялась, громко, запрокинув голову, так что грачи сорвались с соседней берёзы. Впервые в этом доме. Лизонька захохотала следом, повалилась в листья, обхватив колени. Морок стоял, невозмутимый, с костью, и смотрел на них с тем снисхождением, какое бывает только у старых собак, которые давно поняли что-то важное, но не считают нужным объяснять. Потом повернулся и потряхал к крыльцу, не выпуская кость. На крыльце устроился с ней между лапами и принялся грызть — методично, сосредоточенно, с хрустом, от которого Глафира, выглянувшая из кухни, поморщилась и захлопнула дверь. Варвара вытерла глаза, ещё улыбаясь. Лизонька сидела в листьях и смотрела на неё снизу вверх — тёмные глаза, серьёзные, немного удивлённые, как будто мамин смех был явлением более необычным, чем чашка, которая звякает сама по себе.

После сада Варвара обошла усадьбу — хозяйским шагом, как не обходила раньше. Флигель — закрыт, Глафира сказала «потом». Домашняя церковь — маленькая, деревянная, с облупившейся краской на куполе. И оранжерея.

Она заметила её ещё в первые дни, но не заходила — стеклянная пристройка к южной стене дома, с мутными стёклами, заросшими изнутри чем-то зелёным. Теперь подошла, толкнула дверь. Та поддалась легко — петли смазаны. Внутри было тепло — неожиданно тепло для ноября, почти как в комнате. И зелено. На стеллажах стояли горшки: герань — красная, махровая, буйная; лимонное дерево — невысокое, тёмно-зелёное, с блестящими жёсткими листьями и одним крохотным зелёным плодом, не больше грецкого ореха; мирт — аккуратно подстри-

женный, пахнувший эвкалиптом. Земля в горшках была влажная. Кто-то поливал. Кто-то проветривал. Кто-то подрезал мирт ровно, как по ниточке.

Варвара потрогала землю в горшке с геранью — влажная, рыхлая, недавно политая. На стеллаже стоял ковшик — медный, позеленевший, с каплями воды на стенках. Всё говорило: здесь кто-то был. Недавно. Регулярно.

Глафира, когда Варвара спросила, пожала плечами:

— Не знаю. Я сюда не ходила. Олимпиада Львовна сама занималась.

— Глафира Тихоновна, бабушка умерла в апреле. С апреля полгода прошло. Герань не выживет полгода без полива.

Глафира поджала губы — тем движением, которое Варвара уже научилась читать: не недовольство, а нежелание обсуждать.

— Значит, кто-то поливал, — сказала она. И ушла на кухню.

Кто-то ходил сюда полгода — поливал, проветривал, подрезал мирт ровно, как по ниточке. И не признавался.

Ответ пришёл после полудня, вместе с запахом мяты и берёзового дыма.

Дарья появилась без предупреждения — просто стояла у крыльца, когда Варвара вышла после обеда. Морок лежал у её ног — не у крыльца, а именно у её ног, бок к её валенкам — и не рычал, не настораживался, лежал спокойно, как у своей. Варвара подумала: он её знает. Он знал её до меня.

В руках у Дарьи — глиняный горшок, обвязанный тряпицей. Мёд. Тёмный, гречишный, пахнувший так сильно, что Варвара почуяла его с крыльца. Дарья была в том же тёмном платке с кисточками, той же телогрейке, тех же валенках с заплатой, и от неё пахло тем же — мятой и дымом. Как будто не прошло ни дня с их встречи в церковной лавке.

— Мёд принесла, — сказала Дарья. — С моей пасеки. Олимпиада Львовна каждую осень брала.

Варвара приняла горшок. Тяжёлый, тёплый — Дарья несла его за пазухой.

— Спасибо. Пройдёте?

Дарья кивнула — коротко, как человек, который уже решил войти, а спрашивают для приличия. Переступила порог, стянула валенки — под ними оказались шерстяные носки, серые, домашней вязки, заштопанные на пятках. Прошла по коридору, не оглядываясь, — видно, знала дорогу. Варвара шла за ней и видела, как Дарья ведёт рукой по стене — легко, кончиками пальцев, как Глафира ведёт по косякам. Как слепой, читающий знакомый текст.

В оранжерее Дарья задержалась. Варвара не звала её туда — Дарья свернула сама, толкнула стеклянную дверь тем же привычным движением, каким толкала входную, и вошла. Подошла к лимонному дереву, потрогала лист двумя пальцами — провела по жилке, как щупают пульс. Повернулась к герани, наклонилась, понюхала землю. Потом — к мирту: тронула подстриженный край, что-то пробормотала. Всё это — быстро, уверенно, как человек, который делает это не в первый раз.

И тут она подняла глаза и встретила Варварин взгляд.

Дарьины руки замерли на листе мирта. Пауза длилась секунду — не больше. Потом она отвела руку, сунула в карман телогрейки и сказала, не отводя глаз:

— Лимон зимой поливать раз в неделю. Не чаще. А то корни сгниют.

Это было не признание. Это было инструкция. Но Варвара поняла. «Д. приходила, пахнет дымом. Хорошо», — вспомнилось из бабушкиной тетради. Д. — Дарья. Конечно. Кто ещё мог ходить сюда полгода, ни у кого не спрашивая, просто потому что растения нужно поливать?

На кухне Глафира поставила самовар и нарезала хлеб. Дарья села за стол — не на почётное место, а у края, где обычно садится работник. Варвара поставила перед ней чашку. Дарья взяла обеими руками — крупными, тёмными, с загрубевшими подушечками пальцев — и подержала, грея ладони, прежде чем отпить. Кивнула — без улыбки, но с каким-то тёплым

движением глаз, которое заменяло ей все светские слова. Помолчала. Посмотрела на связки трав, которые висели под потолком кухни — Глафирины, не бабушкины: лук, чеснок, укроп.

— Олимпиада Львовна помогала деревенским, — сказала Дарья, как будто продолжая давно начатый разговор. — От колик, от бессонницы, от тоски. Тоска — это когда болит, а где — непонятно. Олимпиада Львовна знала, где. И травы знала. Не все — я ей показывала, — но писала лучше меня. Я руками помню, а она — на бумаге.

Варвара хотела спросить — как давно? как начали? — но Дарья уже доставала из карманов пучки, и вопросы отложились.

И начала учить.

— Вот мята, — сказала она, доставая из кармана пучок сушёной травы, перевязанный ниткой. — Собирать в июне, когда цветёт. Сушить в тени, не на солнце, иначе потеряет силу. На пучок — три стебля с цветами. Связать ниткой. Повесить вверх ногами.

Она говорила, как учительница в церковно-приходской школе — коротко, ясно, без лишнего. Варвара слушала и ловила себя на том, что хочет записать. Гувернантский рефлекс — конспект, список, таблица. Но перо и бумага были в кабинете, а встать и пойти за ними значило бы прервать.

— Зверобой, — Дарья положила на стол другой пучок, с мелкими жёлтыми цветками. — Тот же срок. Но сушить можно и на солнце — он крепче. Если просвечивает на свет — видишь дырочки в листьях? Это правильный зверобой. Без дырочек — не тот.

Варвара посмотрела на свет. Дырочки были — мелкие, как от иголки, по всему листу.

— Олимпиада Львовна тоже сначала не верила, — сказала Дарья, и в голосе мелькнуло что-то — не тепло и не холод, а какая-то особая интонация человека, который говорит о мёртвом, не называя его мёртвым. — Говорила: «Дырочки — случайность». Потом проверила под лупой. Потом перестала спорить.

Варвара улыбнулась. Бабушка с лупой — это было похоже. В кабинете на полке лежала лупа с костяной ручкой, и Варвара теперь знала, для чего. Не для чтения мелкого шрифта — для проверки дырочек в зверобое.

— А вот это, — Дарья вытащила третий пучок, совсем маленький, — чабрец. Его ещё называют богородской травой. Собирать на Троицу, когда цветёт лиловым. Олимпиада Львовна стелила его в детской — под подушку, от кашля и от дурных снов. — Дарья замолчала на мгновение, как будто услышала что-то в собственных словах, что не собиралась говорить. Потом продолжила, тише: — Сушить пучками, хранить в полотняном мешочке. Не в бумаге — задохнётся.

Они выпили чай. Дарья ела хлеб с мёдом — крупными кусками, как едят люди, привыкшие к простой еде. Глафира стояла у печи и слушала — не вмешивалась, но и не уходила. Лизонька сидела на полу в углу и строила из чурочек что-то непонятное, молчаливая и сосредоточенная.

Глафира убрала со стола, налила ещё чаю. Дарья пила молча, обхватив чашку обеими руками, и в этой тишине было что-то совместное — не неловкое, а рабочее, как бывает между людьми, которые ещё не подружились, но уже делают одно дело. На полу у стола Лизонька выстроила из чурочек мост — два столбика и перекладина — и теперь проводила по нему фарфоровую кошку с отбитым ухом, тихо шевеля губами.

Варвара решила.

— Дарья Ермиловна, — сказала она. — В бабушкиной тетради... Одна страница перечёркнута. Рецепт от детской горячки. И рядом — «Не помогло. Настя умерла».

Тишина. Глафира у печи замерла, ухват в руке. Лизонька подняла голову — как всегда, когда в комнате менялось что-то невидимое, что дети чувствуют кожей.

Дарья поставила чашку. Медленно, точно, как ставят вещь, которую боятся разбить. Лицо её — тёмное, бороздчатое — не изменилось, но что-то в нём стянулось, как стягивается земля

перед заморозком. Она посмотрела в окно. Потом на стол. Потом — на свои руки, крупные, лежащие на скатерти.

— Настя, — повторила она тихо. Не как ответ — как звук, который нужно произнести, чтобы он не застрял в горле.

И замолчала.

Варвара ждала. Глафира ждала. Лизонька вернулась к чурочкам. Тишина длилась — может, минуту, может, больше. Дарья не шевелилась. Потом встала.

— Мне пора, — сказала она. Голос был ровный, но тише, чем раньше.

Варвара не удерживала. Проводила до крыльца. Дарья обулась — медленно, как человек, которому нужно время, чтобы вспомнить, зачем он уходит. На крыльце остановилась, посмотрела на сад, на голые яблони, на далёкие берёзы за прудом. Потом — на Варвару.

— Приду ещё, — сказала она. Тише: — Олимпиада Львовна хотела бы, чтобы я пришла.

И пошла по липовой аллее — прямая, неторопливая, с крупными руками вдоль тела. Тёмный платок среди голых ветвей — как точка в пустом предложении.

Варвара стояла на крыльце и смотрела, пока Дарья не скрылась за воротами. Аллея была пуста — голые липы, бурые листья на земле, серое небо, которое уже начинало розоветь у горизонта, хотя было едва четыре часа. Ноябрь. Дни укорачивались, темнело рано, и эта ранняя темнота была как занавес, который задёргивают, не дав досмотреть спектакль. Где-то далеко, за деревней, поднимался дым — тонкий, прямой, как нитка, привязанная к небу.

Мёд стоял на кухонном столе, горшок ещё тёплый. Варвара открыла тряпицу и зачерпнула ложкой — тёмный, густой, гречишный, с привкусом горечи и чего-то цветочного. Положила ложку в рот и закрыла глаза. Вкус был тёплый, сложный, ни на что не похожий, и Варвара подумала: вот так, наверное, пахнет лето, если его запечатать в глиняный горшок и открыть в ноябре.

Вечером, когда печи были протоплены и дом пах дымом и теплом, Варвара сидела в кабинете за конторкой и перечитывала бабушкины записи на полях — при свече, как бабушка когда-то. «Д. приходила, пахнет дымом. Хорошо». Теперь Варвара знала, кто такая Д. — знала по запаху, по рукам, по тому, как эти руки трогали лист мирта. И «Хорошо» — теперь это слово было не пометкой, а вздохом облегчения. Бабушка была рада, когда Дарья приходила. Ей было хорошо.

Лизонька вдруг встала с ковра, где играла с фарфоровой кошкой, пошла на кухню и вернулась с блюдечком. На блюдечке лежало овсяное печенье — одно, самое маленькое, чуть подгоревшее с краю. Лизонька поставила блюдечко на пол у печки в кабинете — рядом с тем местом, где обычно лежал Морок — и сказала:

— Для бабы Оли.

Не объяснила. Не спросила разрешения. Поставила и ушла — обратно к фарфоровой кошке, к коврику, к своим чурочкам. Варвара стояла в дверях и не знала, что сказать. Четырёхлетний ребёнок, который оставляет печенье для покойницы, — это что? Игра? Ритуал? Или то самое, о чём Глафира говорит словом «домовой», а бабушка писала на полях тетради словами, которые Варвара ещё не научилась читать?

Морок подошёл к блюдечку. Обнюхал — долго, внимательно, наклонив голову, как делал всегда, когда нюхал что-то важное. Потом отступил. Не тронул. Не съел. Он, который в любое другое время слизнул бы печенье за секунду, — отступил и лёг рядом, бок к печке, морда к блюдечку. И стал смотреть.

Варвара смотрела на это и не могла отвести глаз. Морок, который утром выкопал кость и грыз её с хрустом, который слизывал крошки с пола, который ел из блюдечка с молоком, макая усы, — этот же Морок сидел перед печеньем и не трогал. Как будто оно было не для него. Как будто он знал, для кого.

Печенье лежало на блюдечке, целое, нетронутое. Морок лежал рядом. За окном темнело, и пруды отражали последний свет — тусклый, медный, ноябрьский. Дом дышал. Половица, пятая от порога, скрипнула, хотя никто по ней не шёл.

Морок поднял голову, посмотрел в сторону двери. Хвост — тук — по паркету. Один раз. Потом положил морду на лапы и закрыл глаза.

Печенье осталось на блюдечке до утра.

Глава 4



Император — это когда всё на месте. Каждая травинка знает свой час. Но порядок бывает двух видов: тот, что назначен, и тот, что вырос. Не путай.

Из тетради Олимпиады Львовны Снегирёвой

> Привычка свыше нам дана: > Замена счастию она. > > — А. С. Пушкин

Глава 4: Порядок вещей

Первый снег выпал в середине ноября — не настоящий, не зимний, а лёгкий, неуверенный, как первый набросок карандашом на чистом листе. Он лёг на землю утром, побелил крыши, присыпал голые ветви лип на аллее, а к полудню начал таять, оставляя после себя грязь и мокрые проплешины. Небо стояло серое, ровное, без единого просвета, и казалось, что оно опустилось ниже — как крышка, которую надвинули на горшок. Воздух пах сыростью и дымом, и дым этот — из труб деревенских изб за прудами — не поднимался вверх, а стелился горизонтально, как будто ему некуда было деваться.

Письмо пришло утром, с деревенским почтальоном — мальчишкой лет двенадцати, курносый, в огромных отцовских валенках. Глафира приняла на крыльце, не пустив внутрь, и принесла Варваре в кабинет: конверт, запечатанный сургучом, адрес — рукой Александра, тем знакомым острым почерком, в котором буквы наклонялись вправо, как деревья на ветру.

Варвара распечатала, села в бабушкино кресло — теперь уже привычно, не задумываясь — и стала читать.

«Варенька, милая. Пишу коротко, устал. Дифтерия не отступает — в Борисове трое детей умерли за неделю, в Зубцове двое. Тех, что поправляются, мало, и я не знаю, от чего больше — от моего лечения или от того, что крепкие. Не сплю толком третью ночь. Фельдшер заболел, замены нет, обхожусь один.

Не вернусь до декабря. Прости. Я знаю, что тебе одной тяжело, но здесь — тяжелее, и если уеду, некому. Лизоньку целуй. Мороку — кость.

Одно только: не верь деревенским средствам от горла. Здесь одна мать поила ребёнка каким-то настоем — то ли шалфеем, то ли ещё чем — вместо того чтобы позвать меня. Когда позвали, было поздно. Я не виню — она не знала. Но ты знаешь, Варенька: травами дифтерию не лечат.

Скучаю. Александр.

Р.С. Если Глафира будет жаловаться на сквозняки — проверь ставни в столовой, левая расшаталась ещё летом. Инструменты в сарае.»

Варвара сложила письмо. Бумага была тонкая, дешёвая — не та, на которой он обычно писал, а больничная, с водяным знаком земской управы. Значит, писал на дежурстве, в бараке, при тусклой лампе, между обходами. Почерк к концу письма стал мельче и резче — торопился, или рука устала, или и то, и другое. Приписка о ставнях — «инструменты в сарае» — была совсем мелкой, как будто добавлена в последний момент, когда уже лизнул конверт и вспомнил. Варвара представила его: сидит на краю койки, конверт в руке, глаза красные от недосна, очки на лбу — он всегда сдвигал их на лоб, когда писал, потому что без них видел ближние буквы лучше. Она знала это движение, как знала запах карболки и привычку не жаловаться.

Она положила письмо на конторку. Посидела, глядя на бабушкин почерк на тетрадах, на Александрово письмо поверх — два почерка, два порядка, два мира, лежащие друг на друге. «Не верь деревенским средствам от горла» — и рядом, в тетради, рецепт ромашки от колик. «Мать поила ребёнка каким-то настоем» — и рядом, на полях, «IV, Император: порядок, дисциплина, строгая мера». Бабушка и Александр верили в разное, но оба — в порядок. Только порядок был разный.

Она подумала о нём — о том, как он снимает очки двумя руками, медленно, как будто они весят пуд. О том, как он не жалуется: «устал» — единственное слово, которое он себе позволил. О детях, которые умерли, — троих, пятерых, — и о том, что он считает их, как считают потери, зная, что каждое число — лицо, имя, мать, которая стоит у кровати и смотрит, как уходит жизнь. Варваре захотелось быть рядом — не помогать, не лечить, а просто быть, как Морок, который ложится у ног и молчит. Но Александр не звал. Он никогда не звал.

«Мороку — кость», — перечитала она и улыбнулась. Морок как раз вошёл в кабинет — медленно, цокая когтями, — обнюхал ножку конторки (ритуал, повторяющийся каждое утро, как будто ножка могла измениться за ночь) и улёгся у печи с выражением глубокого удовлетворения, как будто услышал. Кость, выкопанная в саду две недели назад, давно была сгрызена, но Морок, кажется, помнил о ней с благодарностью. Каждый день он делал круг по саду — медленный, торжественный — и останавливался у яблони с дуплом, где копал. Стоял, нюхал, вздыхал. Уходил.

После письма Варвара взялась за дело. Может быть, потому что нужно было что-то делать руками, чтобы не думать. Может быть, потому что Александрово «не верь деревенским средствам» толкнуло её обратно к тетради — доказать, что бабушка была не деревенской знахаркой, а кем-то другим. Учёным. Системой.

Она начала с кладовых. Глафира шла впереди, отпирая двери и называя: «Здесь крупы — гречка, пшено, овёс. Здесь соленья — огурцы, капуста, грибы в бочонке. Здесь мука — два мешка, на зиму хватит, весной закажем ещё. Здесь масло, закупали в октябре. Здесь...» — и так, дверь за дверью, полка за полкой, как инвентарная опись, произнесённая вслух. Варвара слушала, кивала и про себя отмечала: у Глафиры порядок был безупречный. Банки стояли ровно, этикетки повернуты надписями наружу — Глафириным мелким почерком. Ничего не забыто, ничего не пропущено. Дом работал — и работал усилиями этой сухощавой женщины, которая тридцать пять лет обеспечивала порядок, не прося ни похвалы, ни разрешения. Варвара подумала: а я могла бы так? Тридцать пять лет — без выходных, без отпуска, без иллюзии, что это моё. Просто потому что кто-то должен.

— Олимпиада Львовна тоже всё по полочкам раскладывала, — сказала Глафира, когда они вернулись в кабинет и Варвара достала тетради. — Да не всё на полки ложится.

Варвара посмотрела на неё. Глафира стояла в дверях, скрестив руки, и смотрела, как Варвара выкладывает тетради на конторку. В этом взгляде было не осуждение, но предупреждение: не думай, что если разложишь — поймёшь.

Варвара разложила.

Тетради по годам — десять штук, от 1858-го до последнего, незаконченного. Каждая — в одинаковом переплёте, подписанная бабушкиным почерком. Варвара расставила их в ряд на полке, по хронологии, и завела конспект: чистая тетрадь, купленная в церковной лавке, с разлинованными страницами. На первой написала: «Травник О. Л. С. Указатель». И начала.

Ромашка — страница 1. Зверобой — страница 3. Мята — страница 5. Чабрец — страница 7. Перекрёстные ссылки: если ромашка упоминается вместе со зверобоем — отметить. Если рецепт повторяется в двух тетрадах — сравнить дозировки. Если на полях есть пометка об Аркане — выписать отдельно.

Это была работа, которую она умела: систематизировать, раскладывать, находить закономерности. В гувернантские годы она так составляла учебные планы для воспитанниц — страница за страницей, предмет к предмету, с пометками о слабых местах и прогрессе. Та же дисциплина, те же ровные строчки, тот же скрип пера. Разница была в том, что тогда она знала, к чему ведёт: к экзамену, к аттестату, к будущему, которое можно спланировать. Здесь она не знала. Здесь порядок вёл в темноту, как тропинка, которая обрывается в лесу.

Но руки делали привычное, и это успокаивало. Свеча горела ровно. Перо скрипело. За окном сыпал мелкий снег — первый за эту осень, — и его шорох по стеклу был как дальний шёпот, бессмысленный и ласковый.

Глафира заглянула через два часа, принесла чай. Посмотрела на конспект — на ровные строчки, на перекрёстные ссылки, на таблицу трав по сезонам, которая занимала уже полстраницы, — и сказала:

— Барышня, вы бы ещё экзамен себе устроили.

Варвара подняла голову. Глафира стояла с подносом — чашка, молоко, сахар, — и в её лице было что-то новое: не ревность, не настороженность, а нечто похожее на сухое, сдержанное одобрение. Как будто она увидела в Варваре что-то, чего не ожидала, — и это что-то ей понравилось. Или нет. С Глафирой было трудно понять.

Бабушкин учёт оказался точнейшим. Варвара сравнила дозировки одного и того же рецепта в тетрадах разных лет — они совпадали, за исключением мелких поправок, каждая из которых была отмечена датой и причиной: «Увеличила долю мяты — прежняя не действовала на Марфу», «Убрала камфору — вызывает сыпь у детей». Это был не сборник заговоров, а рабочий журнал, и Варвара, листая, думала о том, что Александр — Александр, который написал «не верь деревенским средствам», — был бы удивлён. Или нет. Может быть, именно поэтому бабушка не показывала.

Три рецепта от горла она нашла ближе к вечеру, когда свеча начала оплывать и пришлось зажечь вторую. Все три были в одной тетради — «1870–1874» — и все три сопровождалась одной и той же припиской на полях, мелким торопливым почерком:

«Александр не показывать.»

Варвара перечитала. Первый рецепт — полоскание шалфеем с мёдом, от боли в горле. Второй — компресс из тёплого масла с камфорой, на шею, при першении. Третий — настой из корня алтея, от кашля с хрипотой. Ничего опасного, ничего странного — обычные средства, которые Варвара и сама видела в аптечных справочниках. Но бабушка скрывала их от Александра — от мужа внучки, земского врача, рационалиста, человека, который верил в карболку и хинин.

Зачем? Бабушка, которая вела точнейший учёт — дозировки, даты, результаты, — и одновременно прятала часть работы от единственного врача в семье. Не от чужих, не от деревенских — от своего, от Александра. Варвара перелистнула страницу. После третьего рецепта — ещё одна пометка, другими чернилами, видимо, добавленная позже: «Александр не показывать. Он не поймёт. Не потому что глуп — потому что обучен иначе. Две правды не умещаются в одной голове, если голова не привыкла к тесноте». Варвара перечитала. Две правды. Бабушка знала, что её травы — правда. И знала, что Александрова медицина — тоже правда.

И знала, что они не совместятся — не потому что одна ложна, а потому что мир так устроен: некоторые вещи верны одновременно и не выносят соседства.

Варвара откинулась в кресле. За окном темнело — ноябрьские сумерки, ранние, серые, без перехода от дня к ночи. Снег на аллее давно растаял, и липы стояли чёрные, мокрые, как нарисованные тушью на сером бумажном небе. Она думала о бабушке, которая вела точнейший учёт и одновременно прятала рецепты от зятя; о Дарье, которая замолчала при имени Насти и ушла, не объяснив; об Александре, который считал мёртвых детей и писал «не верь деревенским средствам». Два порядка — и между ними она, Варвара, с конспектом и перекрёстными ссылками, не знающая, к какому примкнуть.

За ужином — щи, хлеб, чай с тем самым мёдом, который принесла Дарья, — Лизонька ела молча, сосредоточенно, как ела всегда: ложка ко рту, ложка на стол, ложка ко рту. Варвара смотрела на неё и думала о Дарьиных словах из прошлого визита: «Тоска — это когда болит, а где — непонятно». Может, и у неё, у Варвары, была тоска. Только она называла её порядком.

Лизонька подняла голову.

— Мама, — сказала она. — Тётя опять приходила.

Варвара замерла. Глафира, наливавшая чай, остановила руку — чайник повис в воздухе.

— Какая тётя, Лизонька?

— Которая пахнет цветами. — Лизонька поковыряла хлебную корку и подцепила крошку кончиком пальца. — Морок её любит. Она с ним разговаривает. Тихо-тихо. Я не слышу, что говорит. Но он хвостом стучит. — Помолчала. — Она красивая. У неё волосы белые. И она улыбается. Не как ты — по-другому. Как будто знает, что будет завтра, и ей нравится.

Глафира поставила чайник. Или не поставила — уронила, тихо, но ложка на блюде звякнула, и все трое замерли: Варвара, Глафира и Лизонька, которая смотрела на мать с тем же спокойным терпением, с каким говорила о стукнувшей чашке. Для неё это было обыкновенно. Для неё тётя, которая пахнет цветами и разговаривает с собакой, была таким же фактом, как щи и хлеб.

Варвара проглотила вопрос, который рвался наружу: «Какие цветы? Когда? Где ты её видела?» — и вместо этого сказала:

— Хорошо, Лизонька. Ешь.

Лизонька пожала плечами и вернулась к корке.

Глафира молчала. Варвара видела, как её руки — сухие, с набухшими венами — чуть подрагивали, когда она убирала чайник. Глафира знала что-то. Глафира всегда знала.

После ужина Варвара поднялась на второй этаж.

Коридор был тёмный — Глафира зажигала свечи только в жилых комнатах, а второй этаж пустовал. Варвара шла, касаясь рукой стены, и половицы скрипели под ногами — другие, чем внизу, более глухие, как будто здесь дерево было старше или суше. В конце коридора — дверь. Та самая. Закрытая. Из-под неё тянуло холодом — тем же ровным, плотным, как в первый день.

Варвара положила ладонь на дверь. Дерево было ледяное — не как дерево, а как камень, как будто за дверью был не воздух, а вода, стоячая и мёртвая. Она простояла так минуту, может две, и чувствовала под пальцами — или ей казалось — лёгкую вибрацию. Не стук, не скрип — что-то ещё. Как будто дом дышал, и здесь, у этой двери, его дыхание было слышнее.

— Варвара Александровна.

Глафира стояла в начале коридора, со свечой в руке. Огонь качался, и тени ходили по стенам.

— Что здесь, Глафира Тихоновна? — спросила Варвара. — Не говорите «спальня». Я знаю, что спальня. Почему она такая холодная?

Глафира подошла ближе. Свеча осветила её лицо — сухое, замкнутое, с поджатыми губами. Она посмотрела на дверь, потом на Варвару, потом снова на дверь — как будто решала, сколько можно сказать.

— Домовой туда не ходит, — сказала она. — И вам не надо. — Пауза. — Олимпиада Львовна сама в последние годы туда не заходила. Спала внизу, в голубой. Говорила: «Эта комната не моя. Она сама по себе».

— Сама по себе?

Глафира пожала плечами — тем движением, которое Варвара уже умела читать: не «не знаю», а «не хочу обсуждать».

— Есть комнаты, которые живут отдельно от дома, — сказала она тихо. — Как люди, которые живут отдельно от семьи. Не надо их трогать. Они сами решат, когда открыться.

Варвара убрала руку от двери. Ладонь была ледяная и красная — как будто она держала её в проруби. Она потёрла её о платье, но холод не уходил — сидел в пальцах, тупой, ноющий, как застарелая боль. Они спустились молча. Глафира впереди, со свечой; Варвара за ней, с ледяной ладонью и вопросом, который не получил ответа.

Перед сном Варвара вышла на крыльцо. Ноябрьский вечер стоял тихий, влажный, без ветра. Снег весь растаял, и земля была чёрной, мокрой, с редкими лужами, в которых отражалось ничто — ни луны, ни звёзд, только ровная серость. Воздух пах мокрой корой и чем-то металлическим — может быть, близким морозом, может быть, водой из пруда, которая в ноябре пахнет иначе, чем в октябре: тяжелее, гуще, с привкусом железа и тины.

Она прошла по аллее до ворот — сто двадцать два шага, она уже знала — и свернула к прудам. Тропинка вела мимо яблоневого сада, мимо куста крыжовника, давно облетевшего, мимо низкой ограды, и под ногами чавкала размокшая земля. Варвара шла и думала о письме: «не верь деревенским средствам» — и одновременно о бабушкиной приписке: «две правды не уместятся в одной голове». Александр был прав — от дифтерии шалфеем не спастись. И бабушка была права — от бессонницы и тоски врач не поможет. Обе правды — настоящие. И обе — недостаточные.

Пруды лежали в темноте — большой и поменьше, за берёзами. Вода была чёрная, неподвижная, ещё не тронутая льдом, но уже не живая — без ряби, без отражений, как провалы в земле. На берегу большого пруда стоял Морок. Варвара не звала его — он пришёл сам, беззвучно, как приходил всегда, когда она выходила из дома. Стоял на берегу и смотрел в воду. Не пил — просто стоял, опустив голову, и его пегий бок поднимался и опускался в такт дыханию.

Варвара подошла, встала рядом. Посмотрела в воду. Ничего — чернота, гладкая и плотная, как стекло, за которым ничего не видно. Морок не шевелился. Его отражение было единственным — белое с тёмными пятнами, размытое, зыбкое. Он стоял так, как стоят у края — не тот, кто собирается прыгнуть, а тот, кто слушает. Как будто в чёрной воде что-то было, и он один это слышал.

Варвара положила ладонь ему на голову. Тёплая, живая, с жёсткой шерстью. Морок качнул хвостом — один раз — и медленно развернулся от пруда. Пошёл к дому. Варвара — за ним. По аллее, по мокрым листьям, сто двадцать два шага до крыльца.

Дом ждал, тёплый и скрипучий. Половица, пятая от порога, скрипнула. Морок прошёл в кабинет, лёг у печи, положил морду на лапы. Закрыв глаза. За окном — чернота, тишина, и где-то в ней — холодная комната на втором этаже, которая живёт отдельно от дома, как человек живёт отдельно от семьи.

Морок вздохнул. Хвост — тук — по паркету. И тишина.

Глава 5



Иерофант — тот, кто учит, но не тот, кто знает всё. Учить — значит выбирать, что показать и что спрятать. Молчание тоже урок.

Из тетради Олимпиады Львовны Снегирёвой

> Нам не дано предугадать, > Как слово наше отзовется, — > И нам сочувствие дается,
> Как нам дается благодать... > > — Ф. И. Тютчев

Глава 5: Горькие травы

Снег лёг в конце ноября — настоящий, не октябрьский, — и больше не таял. Утром Варвара вышла на крыльцо и увидела мир, который за ночь стал другим: белая аллея, белые крыши, белые берёзы за прудами, а пруды — ещё чёрные, но уже с тонкой ледяной кромкой у берегов. Морозные узоры расцвели на стёклах кабинета — хрупкие, ветвистые, похожие на папоротник, — и сквозь них утренний свет падал пятнистый, неровный, как через кружево. Воздух был тихий, сухой, с острым запахом мороза, от которого щипало ноздри.

Варвара оделась тепло — шерстяная шаль поверх телогрейки, валенки, перчатки — и положила в холщовую сумку конспект. Тот самый: «Травник О. Л. С. Указатель», чистая тетрадь с разлинованными страницами, заполненная уже на четверть ровным гувернантским почерком. Перекрёстные ссылки, таблица трав по сезонам, отдельный список вопросов к Дарье — двенадцать штук, пронумерованных и подчёркнутых. Она перечитала список накануне, дважды, и дописала тринадцатый: «Что значит "Александр не показывать"?»

До Дарьиной избы было три версты от усадьбы — не через деревню, а напрямик, через поле. Варвара шла быстро, проваливаясь в свежий снег по щиколотку, и дышала паром. Поле лежало ровное, белое, безлюдное — только вороны кружили над дальним леском и где-то далеко, на большаке, скрипели полозья невидимых саней. Снег был рыхлый, свежий, и Варварины валенки оставляли в нём чёткие следы — глубокие, с отпечатком подошвы. Она оглянулась: цепочка следов тянулась от усадьбы до горизонта, ровная, как строчка в тетради. Тишина стояла такая, что Варвара слышала собственное сердце и поскрипывание снега под ногами. За месяц в Покровском она привыкла к тишине, но полевая тишина была другой — не домашней, скрипучей и тёплой, а пустой, высокой, как купол без стен.

Изба Дарьи стояла на краю деревни, отдельно — не в ряду с другими, а чуть в стороне, за огородом, как будто сама деревня держала дистанцию. Невысокая, приземистая, с почернев-

шими от времени стенами и крышей, присыпанной снегом. Из трубы шёл дым — не тонкий, как из барских печей, а густой, плотный, берёзовый, тот самый, которым пахла Дарья. Забор был низкий, калитка — без замка, просто на верёвке. У порога стояли сани — маленькие, крестьянские, с сеном.

Варвара постучала. Дверь открыла Дарья — та же телогрейка, тот же тёмный платок, те же валенки с заплатой на правом носке. За ней — изба: низкий потолок с закопчёнными балками, печь — огромная, занимающая треть пространства, лавки по стенам. И запах — густой, тёплый, многослойный: дым, мята, сушёная ромашка, что-то ещё, незнакомое, с горчинкой. Под потолком висели связки трав — десятки, сотни пучков, перевязанных нитками, как в бабушкином кабинете, но гуще, плотнее, живее. Здесь травы были не наследством, а работой.

Дарья посмотрела на Варвару, потом — на сумку.

— С чем пришла?

Варвара достала конспект. Положила на стол — единственный стол, дощатый, скоблённый, белый от времени. Тетрадь с разлинованными страницами, ровные строчки, пронумерованные вопросы.

Дарья взяла тетрадь. Повертела в руках — осторожно, как трогают незнакомый предмет. Варвара вдруг подумала: она плохо читает. Это не конспект для неё — это знак, символ, как мундир на солдате. Не то, что написано, а то, что он означает: я пришла учиться. Серьёзно. По правилам.

Дарья положила тетрадь обратно и хмыкнула.

— Олимпиада тоже так пришла. — Пауза. — С перчатками и тетрадкой. — Ещё пауза. — Через месяц перчатки сняла. Тетрадку не бросила — но стала писать после, а не до.

Варвара посмотрела на свои руки — в перчатках, шерстяных, толстых. Медленно стянула, положила на стол рядом с тетрадью. Дарья кивнула — одним движением, без улыбки, но с тем тёплым проблеском в глазах, который Варвара начинала узнавать: одобрение. Или, скорее, согласие продолжать.

— Садись, — сказала Дарья. И это «садись», без «пожалуйста» и без «Варвара Александровна», было первым настоящим приглашением.

На лавке у печи сидела женщина — молодая, лет двадцати пяти, крепкая, румяная, с круглым животом, который выступал под передником, как спрятанный мяч. Она смотрела на Варвару из-под платка — робко, с тем выражением, какое бывает у людей, которые не привыкли к чужим в своём пространстве. Варвара не знала, кто она, — только видела: молодая, беременная, деревенская. Пришла к Дарье — к повитухе, не к барыне.

Дарья подошла к беременной, наклонилась, положила обе руки на живот — ладони раскрыты, пальцы широко. Закрыла глаза. Женщина замерла, опустив руки вдоль тела. Между ними повисла тишина — не пустая, а наполненная, как пауза в музыке, в которой слышно дыхание. Дарья что-то шепнула — Варвара не расслышала, только движение губ — и убрала руки. Кивнула: «Хорошо. Крепкий».

Женщина улыбнулась — впервые, коротко, как солнце в ноябре, — и встала. Поклонилась Варваре на выходе, не поднимая глаз. Дверь закрылась, и в избе стало тише.

Варвара смотрела на дверь и чувствовала то, чего не ожидала: отчуждённость. Она была гувернанткой, женой врача, женщиной, которая умела составлять расписания и проверять тетрадки, — но вот это — руки на животе, шёпот, закрытые глаза — было из другого мира. Телесного. Женского. Того, в который не входят с конспектом.

— Степанида третий раз носит, — сказала Дарья, как будто читая мысли. — Первый ребёнок не выжил. Второму — Митеньке — три года, здоров. Этот будет крепкий, я чувствую. — Помолчала. — Олимпиада Львовна тоже у меня сидела, когда я рожала. Тридцать лет назад. Только не так — не с тетрадкой. С мёдом и молоком. Просто рядом.

Варвара открыла было рот — но Дарья уже повернулась к полке, на которой стояли глиняные горшочки, мешочки, свёртки. Достала три: один завернутый в тряпицу, другой — в бумагу, третий — в берестяной коробке.

— Ты знаешь, как выглядят мята, зверобой и чабрец, — сказала Дарья. — Я показывала. Теперь — попробуй. Язык не обманет. Глаза обманут, нос — может. Язык — нет.

Она развернула первый свёрток — серо-зелёные сухие листья с серебристым пушком, мелкие, с острым, резким запахом, от которого у Варвары свело горло ещё до того, как она попробовала.

— Полынь, — сказала Дарья. — Положи на язык. Не глотай. Подержи.

Варвара положила. Лист был лёгкий, сухой, шершавый — как промокательная бумага. Потом — горечь. Она ударила не сразу, а с задержкой, как будто разбежалась, и ударила мгновенно: густая, тяжёлая, плотная, как будто кто-то влил в рот жидкий металл. Глаза заслезились. Варвара вцепилась в край лавки. Хотела сплюнуть, но Дарья покачала головой:

— Подержи. Считай до десяти.

Варвара считала. На пятой секунде горечь стала другой — не металлической, а травяной, глубокой, с нотой чего-то сладковатого на самом дне, как будто у горечи было дно, и на нём лежало что-то, что не сразу чувствуешь. На десятой секунде Дарья кивнула, и Варвара сплюнула в тряпицу.

— Вот, — сказала Дарья. — Теперь ты знаешь полынь. Не глазами — языком. Никогда не перепутаешь.

Второй свёрток — тысячелистник: мелкие листья, похожие на перья, с тонким, чуть перечным запахом. На вкус — терпкий, вяжущий, как зелёный чай, передержанный на огне. Не горький, как полынь, а сухой, стягивающий нёбо.

— Тысячелистник останавливает кровь, — сказала Дарья. — Прикладываешь к ране — и она закрывается. Мужики в деревне знают: порезался косой — тысячелистник на рану, и в поле. Олимпиада Львовна не верила, пока не порезалась о нож в саду. Приложила — через час кровь встала. Пришла ко мне, показала палец, и глаза были как у ребёнка, который впервые увидел фокус. — Дарья усмехнулась — коротко, одним углом рта. — После этого не спорила.

Третий — чабрец. Варвара уже знала его по виду из предыдущего урока, но на вкус — это было другое. Тёплый, пряный, с привкусом тимьяна и мёда, с лёгкой горчинкой в послевкусии. Не горечь полыни и не вязкость тысячелистника — а что-то домашнее, уютное, как запах печного хлеба.

— Чабрец — для дома, — сказала Дарья. — Под подушку, в чай, в купель ребёнку. У меня в избе он везде — слышишь? — Варвара прислушалась: в тёплом многослойном запахе избы, за дымом и мятой, был ещё один слой — пряный, мягкий, как далёкая нота в аккорде. — Олимпиада Львовна говорила: «Чабрец — самая честная трава. Ничего не обещает и ничего не забирает. Просто есть рядом». — Дарья помолчала. — Она много говорила про честность трав. Что трава не обманет, если ты не обманешь её. Если собрал вовремя, высушил правильно, дал в нужной дозе — она сделает, что может. Не больше. Не меньше. Без чудес.

Варвара сидела с горьким послевкусием полыни на языке и думала: вот почему бабушка написала «сперва руки, потом голова». Нет — не руки. Язык. Тело. То, что нельзя записать в конспект, потому что горечь не помещается в строчку, и терпкость тысячелистника не передаётся перекрёстной ссылкой.

— Дарья Ермиловна, — сказала Варвара, когда горечь улеглась и Дарья поставила самовар — маленький, медный, в два раза меньше Глафириного. — В бабушкиной тетради есть приписка. Три рецепта от горла — и рядом: «Александру не показывать». Мой муж — Александр. Врач-земец. Зачем бабушка скрывала от него?

Дарья разливала кипяток — не в чашки, а в глиняные кружки, тёмные, без ручек, которые нужно держать двумя руками. Не торопилась с ответом. Залила чабрец в одну кружку, мяту — в другую. Подала Варваре мятную.

— Она берегла мир в доме, — сказала Дарья. Просто, без нажима, как говорят о вещах, которые объяснять не нужно. — Доктора не любят, когда бабы лечат. Не потому что злые — потому что им так учили. Им учили: если нет дозы, нет результата, нет бумаги — значит, нет лекарства. А у нас нет бумаги. У нас руки.

Варвара вспомнила бабушкину приписку — ту, длинную, другими чернилами: «Две правды не умещаются в одной голове, если голова не привыкла к тесноте». Дарья говорила о том же, только проще. Без философии. Руками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.